

## БЕЛОРУССКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ: МЕЖДУ КЛАССОМ И НАЦИЕЙ?

Елена Гапова

*...Если только национальное сознание в момент своей победы не преобразуется в социальное сознание, будущее будет чревато не свободой, а продолжением империализма.*

Edward Said<sup>1</sup>

### О нации бедной замолвите слово

Судя по тому, что пишется о Беларуси в международной прессе — когда о ней вообще пишется, что случается нечасто, — страна наша является для международного сообщества проблемой. Ее не только называют «оплотом тирании», «автократией» или «последней диктатурой в Центральной Европе», но даже относят к «оси зла». Впрочем, авторы настоящего журнала, как и те, к кому он попадет в руки — немногочисленной группе критически настроенных интеллектуалов, — осведомлены о существовании проблемы лучше, чем кто бы то ни был. Именно поэтому они и читают этот журнал, а не другие.

Наиболее популярная интерпретация «проблемы» связывает белорусские контраверсы с утерей национального: белорусы якобы не осознают себя нацией, не обладают чувством общности происхождения, исторического опыта или культуры, а потому не способны противостоять произволу. В течение столетий белорусско-литовский языковой и этнический ареал являлся пограничьем между «азиатским востоком» и «европейским западом» (причем и тот, и другой имели на эти земли одинаковые притязания и использовали по отношению к ним одинаковые методы), советская же власть якобы довершила процесс, заставив народ забыть свое истинное «мы». *The New York Times* как-то выразила смысл национальной недоли фразой: «Беларусь — страна, проклятая географией и историей»<sup>2</sup>. Канадский исследователь Дэвид Марплз озаглавил свою книгу *Belarus: Denationalized Nation*<sup>3</sup>. В конце должен был стоять вопросительный знак, но в процессе публикации затерялся. Недавно в СМИ сообщалось, что докладчик Совета Европы Адриан Северин, описывая белорусскую ситуацию, отметил отсутствие четкого национального самоосознания. Судя по контексту, отметил как изъян, как «значимое отсутствие» того же порядка, каким было

для Фрейда отсутствие у женщин пениса. Очевидно, многие «граждане мира», которые живут и свободно передвигаются с двумя, а то и тремя национальными паспортами, полагают, что у кого-то другого единственной основой идентификации должно быть национальное (или, скорее, этническое) чувство. Что, как писал Эдвард Саид, «ирландцы — это только ирландцы, индусы — индусы, а африканцы — африканцы»<sup>4</sup>, для которых исключена возможность множественной, подвижной или ненациональной идентификации. Таковая остается привилегией тех, от кого ее не требуют: они сами являются теми, кто требует.

По крайней мере со времени перестройки разрешение «проблемы» связывалось с «независимостью», которую иногда именуют национальной, хотя пониматься под этим могут различные вещи. Основной интерпретацией независимости какое-то время был ностальгический миф «возвращения в Европу» — эту фразу даже скандировали на митингах — в качестве проснувшейся нации. Ее основой виделся особый тип групповой солидарности, что связывалась с открытием «настоящей» национальной истории: не той, что рассказывала о совместном со старшим братом шествии к пролетарской революции под мудрым руководством, а той, которая помещала средневековую белорусско-литовскую государственность в европейский ренессансный проект. Надо было просто вспомнить себя истинных, освободиться от ложного, навязанного сознания и вернуться туда, где «мы» уже были. Соответственно, 1991 г. интерпретировался как триумфальная реализация идеи, что каждый из пятнадцати главных советских народов, «вспомнив», заслужил собственное государство.

В Беларуси, однако, триумфа не наблюдалось: белорусский народ независимости не просил, испытал шок, когда таковая была получена, и, придя в себя после первоначального замешательства, избрал президентом Александра Лукашенко, который обещал все вернуть «как было». Подписание соглашения о союзе с Россией 2 апреля 1997 г. (находящееся с тех пор в финальной стадии) вызвало протест в основном со стороны городской интеллигенции, жестко подавленный милицией, но было встречено с искренним воодушевлением пенсионерами, жителями села, городскими рабочими в районных центрах и на востоке страны, а также в большей степени женщинами, чем мужчинами.

К началу 2000-х гг. стало окончательно ясно, что слишком многие граждане «вспоминать» свое европейское прошлое то ли не хотят, то ли не могут. Это увидели даже сами апологеты национального проекта: «За гэтыя 1015 гадоў змянілася пакаленне, над дэмакратамі фатальна навіс знак бяспэленнасці іхных высілкаў. Вулічныя змаганні, улёткі ды налэпкі — усё міналася, а нейкага якаснага зруху у грамадстве так і не наставала»<sup>5</sup>. Казавшийся когда-то единственным (и путавший многих) вариант решения белорусской «проблемы» стал угасать — вместе с увяданием интереса к языку и истории; акции протеста перестали быть белорусскоязычными, а с плакатов исчезли лозунги «Минск старше Москвы». Другие идеи стали казаться более реальной основой для формирования солидарности. «Свобода, собственность, законность» — разместила на своем сайте белорусская Объединенная граж-

данская партия в качестве программного лозунга. Очевидно, полагая, что на дворе стоит 1993 год — тот самый, о котором писал Виктор Гюго, т. е. 1793, — и население представляет собой обладающее материальным капиталом и мечтающее о политической легитимации третье сословие. Но и вокруг идеи собственности (которой пока еще практически нет, но которая должна появиться, как только удастся воплотить планы партии) не удастся объединить население в значительных масштабах: слишком узким остается круг революционеров.

Одновременно с этим все более видимой (в интернете) стала идея универсальных ценностей — свободы, справедливости и законности — как основы для всенародного объединения вне зависимости от национального самосознания или желания собственности. Публицист Андрей Суздальцев в тексте *Белорусское национальное государство* пишет: «“Национальное государство” является прежде всего характеристикой конституционно-правового статуса государства (и это означает, что данное государство является формой самоопределения конкретной нации и выражает волю именно данной нации), мы не скрываем приверженности либеральному подходу в определении национального государства, так как твердо считаем, что “национальным” может быть названо государство с демократическим политическим и государственным режимами...»<sup>6</sup>. Против идеи демократии как «всего самого хорошего» возразить трудно (а против логических неувязок в этом тексте — легко), но и вокруг столь очевидно полезной цели не хотят белорусские граждане объединяться. Если, конечно, не считать их упорное сопротивление названным объединительным усилиям формой объединения на каких-то иных основаниях. В таком случае оно уже произошло — а мы и не заметили, — и далее я попытаюсь очень кратко объяснить, в чем, по моему мнению, состоит его суть<sup>7</sup>.

### Чего хочет нация

В конце 1980-х гг., следя за развитием событий в СССР, некоторые западные теоретики национализма отмечали, что по «краям» (в Прибалтике, Украине), где происходят очевидные национальные процессы, артикулируются идеалы рыночной экономики, в то время как «советский имперский центр» (ЦК) держится за социалистические методы административного распределения<sup>8</sup>. С тех пор мы имели возможность наблюдать за развитием того, что во время перестройки только намечалось. Основным процессом, происходившим в нашей части света в явном виде с 1991 г., но начавшимся и ставшим видимым ранее, было формирование экономического неравенства. Создание независимых национальных государств стало той формой, которая позволила легитимировать формирование классов (т. е. неравенства), представив весь процесс как «освобождение народов». На самом деле причиной распада СССР явилось вызревание «классов» и замена статусного неравенства экономическим, т. е. борьба различных типов элит. Под классом я понимаю не марксистское отношение к средствам производства, а распределение жизненных возможностей вследствие действия рынка:

стратификация происходит, когда «жизненные возможности разных групп населения распределены неравномерно, являясь коллективным результатом деятельности отдельных экономических агентов, различающихся по своей власти на рынке»<sup>9</sup>. Постсоветские «национальные» дискурсы на самом деле противопоставляют рыночную экономику (и либеральную демократию) и социализм (и политическое принуждение) как два различных способа распределения ресурсов. Этот дискурс есть выражение не национального, а классового чувства; суть спора не в национальной идентификации сторон, а в их классовых интересах.

Социальное беспокойство, ставшее очевидным в СССР во время перестройки, было связано с возникновением зачатков стратификации, основанной на обладании «ценными товарами» в обществе, где прежде экономическое неравенство было очень невелико. В отсутствие рынка советская социальная стратификация была не экономического, а статусного свойства (наподобие феодального сословного разделения). Доступ к редким и поэтому ценным «товарам» осуществлялся не через посредство цены (редкое стоит дороже, а потому купить его может меньшее количество людей), а через централизованное распределение: списки, столы заказов, ведомственные санатории и т. д. «Товары» (как материальные, так и символические) получают те, кто имеет соответствующий статус, часто добытый демонстрацией верности режиму. Для интеллигенции одним из показателей статуса была возможность читать «редкие» тексты, которые являлись «ценным товаром», заниматься «научными темами, которые требовали знакомства с западной литературой (почему доступ к спецхрану и охранялся столь рьяно), и т. д.

Принадлежность к привилегированной группе увеличивала карьерные и жизненные (получение повседневных благ) возможности, а потому столь важны были символы идентификации с ней («подписные издания» как знак идентификации с интеллигенцией). Однако в целом интеллигенция была недовольна своим положением (ее статус стоил все меньше, а доступ к реальным товарам был ограничен), как, впрочем, не были довольны и те, кто распределял реальные товары, — «нужные люди» (директоры магазинов, билетные кассиры, слесари автосервиса) и коммунистическая номенклатура (сверху). Критическая масса людей рассматривала советскую систему распределения ресурсов (подразумевающую и политические ограничения) как несправедливую: они выросли из нее, как князь Гвидон из бочки. Власть и ресурсы, т. е. социальный капитал, которым они обладали, не были связаны с собственностью и даже не могли передаваться детям, поэтому был желателен переход к другой модели распределения и владения — посредством рынка и частной собственности. Болгарский социолог Демитриа Петрова еще в 1994 г. написала, что произошедшее в начале 1990-х гг. было не демократизацией, а высвобождением класса<sup>10</sup>, хотя вернее было бы сказать, что произошла легитимация возможностей для его формирования, т. к. готового класса тогда еще не было: никто ничем не владел.

Однако процесс замещения статусного неравенства экономическим нуждался для легитимации в демократическом нарративе. Хотя материальная причина изменений состояла в переходе к иному способу

распределения, в основе которого лежит иная, несоциалистическая, идея социальной справедливости, нужна была такая мотивация, с которой люди могли бы идентифицироваться. Их невозможно позвать на баррикады, сказав: «Мы тут строим экономическое неравенство — присоединяйтесь к нам!». Ресурсом, который позволил мобилизовать массы, стал национализм: национальные проекты оправдывали постсоветский социальный порядок, давая восстающему новому классу «благородную» цель.

Под национализмом я понимаю как чувства, так и социальные движения, которые определяют себя в терминах национального (хотя это слово может и не произноситься): воображенной общей истории, общего происхождения, культуры, судьбы, языка, национального угнетения и т. д. Националистический дискурс в явной форме был начат во время перестройки некоторыми группами интеллектуалов (которые, как оказалось, артикулировали интересы нарождающегося класса), а в некоторых случаях — коммунистической номенклатурой, ставшей впоследствии во главе новых национальных государств.

Самым первым пространством, которое могло трактоваться как национальное, а потому политическое, стала культура: во всех постсоветских странах национальные политики вышли из групп, занимавшихся восстановлением исторических памятников, археологическими раскопками и т. д. В Беларуси такими объединениями были «Талака», «Майстэрня», «Тутэйшыя» и некоторые другие. Те, кто артикулировал национальную идею, определяли ее как свободу: свободу знать правду о своей истории (т. е. конструировать ее несоветскую версию), свободу читать национальную литературу (т. е. осуществлять цензуру на других основаниях), свободу говорить на национальном языке (который к тому времени в Беларуси уже стал проблематичным) и т. д. Участник событий вспоминает:

Нашай крывёю была заходняя рок-музыка, што напаўняла нас пратэстам і непрыняццем прапаганды. Наш інфармацыйны свет фарміравалі замежныя радыёстанцыі. У дадатак да гэтага, была мясцовая афарбоўка: блізкасць Польшчы, ўздым цікавасці да меснай гісторыі, звязаны з рамантызмам замкавай і касцёльнай архітэктуры, паездкі ў падсавецкую Прыбалтыку, што застаўляла нас пытацца, чаму мы не такія, як яны. Усё гэта стварала нейкую гаручую сумесь, і патрэбен быў толькі нейкі каталізатар, каб атрымаць непазбежны рэзультат — адчуць сябе «беларускім буржуазным нацыяналістам»... І як добра было ведаць, што ўся гэта брэжнеўская саветчына, ўся гэта БССР-шчына — гэта не тваё, ты да гэтага не належыш і за гэта не адказваеш. А тваё — яно тут, пад нагамі: твая зямля, твая гісторыя, твае дзяды ў вёсцы з іх мясцовай гаворкай, песнямі, прымаўкамі і выдатнай самагонкай.<sup>11</sup>

Не то чтобы раньше в Советском Союзе не было этнографии — научные институты издавали собрания обрядовых песен, а студенты-филологи ежегодно ездили записывать фольклор, но разница между тем народным искусством, которое демонстрировали по телевидению «народные хоры», и тем, которое открывали разрешенные при Горбачеве неформальные объединения, была огромной. Она объяснялась

словом «аутентичность», о чем объявляли сами открывшие ее этнографы, лингвисты и историки. Процесс, в котором они участвовали с такой искренностью и верой в «правое дело», называется «изобретением традиции», которая должна лечь в основание любого проекта, призванного сместить центры власти.

Со временем власти научились инкорпорировать фольклорные перформансы в «фестивали народной культуры», т. к. остановить их в тот момент было уже невозможно: в конце 1980-х гг. они стали точкой выхода «антисоветского» чувства. В каждой из республик существовал «пакет претензий», соотносивший социализм с воображенным национальным угнетением: советской оккупацией в Прибалтике, отсутствием независимой государственности и языковыми «контраверзиями» (а также Чернобылем) в Беларуси и Украине, спорными территориями на Кавказе, истощением национальных ресурсов в Казахстане и сталинскими преступлениями против народов – повсеместно. В России претензии фокусировались на ностальгии по былому величию: якобы утраченной высокой культуре, истощенной природе, выкорчеванному крестьянству, уничтоженной аристократии – и артикулировались в рамках дискуссии о повороте северных рек, в творчестве писателей-деревенщиков или посредством первого глянцевого журнала *Наше наследие*, преподносившего «национальное достояние» уже как упакованный для элитного потребления продукт.

Исходя из этого «перечня обид», общества начали требовать независимости от «других», которые «оккупировали», «истощали ресурсы», «убивали национальных поэтов», «не давали говорить на родном языке», «уничтожали национальные святыни», «использовали наши земли под свои военные базы» и т. д. Дело не в том, являлось ли угнетение истинным или воображенным, а в том, что в это время национальный вопрос в различных инкарнациях приобрел чрезвычайную важность, т. к. национальности, как пишет Кэтрин Вердери, были единственными на тот момент организационными формами, имевшими институциональную историю<sup>12</sup>. Например, Б. Ельцин на танке во время августовского путча ассоциировался у интеллигенции с российским триколором как символом делегитимации старого режима (т. е. с демократизацией) и возрождением России:

Я в 91-м году вернулся, оказался в Москве как раз, когда путч происходил. 21 августа как раз присутствовал у Белого дома, когда вместо красного флага взвился «триколор». Ревел как бык, когда Борис Николаевич назвал нас «дорогими россиянами». Как-то мне показалось, что в тот момент моя жизнь определилась. Я потом много раз отказывался от этого моего состояния, говорил, что – все, гори они огнем, но возвращался к нему. В этот момент очень много в моей жизни определилось, я бы сказал.<sup>13</sup>

Миф о «возрождении нации» (каждой из пятнадцати) позволил представить произошедшее в 1991 г. – а произошел тогда переход к рынку – как «справедливое», т. е. он стал способом легитимации других элит и другой системы неравенства: изменение системы распределения ресурсов запустило механизм стратификации в явном виде. Та-

ким образом, в постсоветском мире рыночная экономика вместе с либеральной демократией и, с другой стороны, социализм с внеэкономическим принуждением в качестве различных способов распределения ресурсов оказались «завернуты» в национальный дискурс. Дискурс за и против «национального» на самом деле есть выражение классового беспокойства: речь идет не столько о национальном чувстве, сколько о классовых интересах, и Беларусь (единственная страна, отвергшая «независимость») является абсолютно уникальным тому примером.

Здесь противостояние между двумя способами распределения ресурсов (через рынок или административное распределение) оказалось представлено как борьба «национального» с «денационализацией» в наиболее чистом виде (на что и «попались» упомянутые вначале авторы). С одной стороны, имеется выступающее за объединение (т. е. за «денационализацию») правительство. С другой — оппозиция, которая провозглашает национальную независимость. Однако если проанализировать эти две позиции со структурной точки зрения, очевидно, что основным пунктом программы президента являлось сохранение государственного контроля (и его персонально в качестве реинкарнации принципа «государство — это я») над социальной сферой и распределением ресурсов вообще. В такой системе тот, кто распределяет всегда недостаточные (в отсутствие рынка) ресурсы, обладает огромной властью; в этом и состоит главный интерес того, кто — по крайней мере явно — не владеет при этом никакой собственностью и вообще «ничего не имеет». Сделав отеческую заботу о гражданах своим социальным капиталом, «он» (по крайней мере так это представляют государственные СМИ) платит пенсии и пособия, «он» сохраняет бесплатную медицину, «он» замораживает цены (правда, они все равно растут), «он» не позволяет ликвидировать нерентабельные предприятия и т. д. Распределяя ресурсы «по потребностям», он сохраняет систему, которая для тех, кто оказался маргинализован в результате действия рынка, воплощает социальную справедливость. Дэвид Лейтин указывает, что для миллионов людей «коллапс Советского Союза означал ... катастрофический распад социальной жизни, социальной защищенности и статуса в том новом обществе, которое они едва ли могли понять»<sup>14</sup>. Не получается у бабки Авдотьи из колхоза «Новы шлях» картошку в капитал конвертировать, как это возможно с ресурсами интеллектуалов, а других ресурсов — помимо картошки, которая вынуждена будет теперь конкурировать с картошкой голландской, — у этой категории населения нет. «Мы голосуем за Советский Союз, потому что это лучшее, что мы видели»<sup>15</sup>, — объясняет прошедший войну глава ветеранской организации. Для таких, как он, распределение по потребностям, включая оплату вполне реального труда, воплощает социальную справедливость.

Для сторонников рыночной модели эти принципы являются антидемократическими, т. е. «несправедливыми»; оппозиция (неолиберальные и/или националистические интеллектуалы), отстаивая независимость, права человека, личную автономию и рынок, которые представляются ей универсальными ценностями, не может понять, почему люди (потерявшие при распаде СССР больше, чем получили) «отвергают

национальный язык» («права человека», «демократические свободы» и т. д.). На самом деле отвергается не язык (не независимость, не свобода прессы), а новая система неравенства. Национальное же чувство этой группы связано не с «золотым веком» ВКЛ, а с «войной». Военный этос — «каждый четвертый» и безмерное народное страдание — стал общим историческим опытом, послужившим основой для формирования того чувства отдельности, которое более всего связано с национальной идентификацией. Победа, одна из составляющих подобного опыта, в этой системе координат может быть только советской, легитимировав таким образом и остальные составляющие советского опыта.

Нынешнее белорусское противостояние, пусть иногда и окрашиваемое в национальные цвета, является «классовой борьбой» в чистом виде: одна группа, обладающая одним набором экономических и культурных ресурсов, заинтересована в изменении ситуации, другая — с другим набором — в ее сохранении. Атрибуты национального в принципе могут отсутствовать в данном диалоге (некоторые либералы крайне негативно относятся к любым «национальным» инициативам, более всего языковым, т. к. переключение на белорусский язык сделало бы их маргинальными, хотя поддерживают идею «европейского выбора» в политике и экономике) — ведь они являются всего лишь символом чего-то другого. Символ «нации» может легитимировать различные социальные движения и действия, имеющие очень разные цели: группы конкурируют между собой, пытаясь застолбить право на определение символа и его легитимирующее воздействие. Дискурсы, продуцируемые в Беларуси обеими группами (вернее, их интеллектуалами), апеллируют к благу народа, представляя его кардинально различным образом. Это разделение имеет непосредственное отношение и к «судьбе» самих интеллектуалов.

Пьер Бурдьё называл интеллектуалов угнетаемой группой угнетающего класса. Являясь главными производителями смыслов, субъектами националистических (и всех прочих) дискурсов<sup>16</sup>, говоря от имени «других», они артикулирует интересы восстающего класса, хотя сами не обязательно оказываются в выигрыше от того нового социального порядка, который проповедают. Что, конечно, не означает, что они не имеют при этом собственных интересов.

Здесь и сейчас, отстаивая идеалы академической свободы, университетской автономии и множественности интерпретативных моделей, — или, наоборот, разрабатывая «национальную идеологию» и «историю Второй мировой войны» с навсегда определенным артиклем (т. к. власть, имея лишь риторику, но не имея собственной философии, испытывает в ней острую потребность), интеллектуалы участвуют в более общем противостоянии. Подобные коллизии, однако, случались с ними в истории и раньше: на эту тему существует огромная литература (вспомним хотя бы сборник *Вехи* или судьбу Янки Купалы, если нам не хочется «далеко ходить» до традиции, связываемой с именем Грамши). Ведь, кроме всего прочего, интеллектуалы являются собственными, самыми главными, самыми жестокими, критиками. Критике интеллектуалами «самих себя» посвящен этот выпуск журнала.

## Примечания

- <sup>1</sup> Said E., *Culture and Imperialism*. London: Chatto and Windus, 1993. P. 323.
- <sup>2</sup> *The New York Times*, Aug. 31, 1996. 19.
- <sup>3</sup> Marples D., *Belarus: Denationalized Nation*. Amsterdam: Harwood Academic, 1999.
- <sup>4</sup> Said E., *Yeats and Decolonization*. The Edward Said Reader. New York: Vintage Books, 2000. P. 303.
- <sup>5</sup> Паўлоўскі С. *Матывацыя самазубцы* // Наша ніва, 29.05.01 г.  
<sup>6</sup> <http://www.nmnbu.org/pub/180405/nation.html>
- <sup>7</sup> См. подробнее: Гарова Е. *On Nation, Gender and Class Formation in Belarus... and Elsewhere in the Post-Soviet World*. Nationalities Papers, Vol. 30, № 4 (2002), 639–662. Текст доступен в интернете по адресу: [http://pravapis.org/art\\_nation\\_gender.pdf](http://pravapis.org/art_nation_gender.pdf)
- <sup>8</sup> Szporluk R. *Russia, Ukraine and the Breakup of the Soviet Union*. Hoover Institution Press. Stanford University. Stanford, California, 2000. P. 264.
- <sup>9</sup> Piirainen T. *Towards a New Social Order in Russia. Transforming Structures and Everyday Life*. Dartmouth, 1997. P. 29.
- <sup>10</sup> Petrova D. *What Can Women Do to Change the Totalitarian Cultural Context?* Women's Studies International Forum, Vol. 17, Nos. 2–3, 1994. P. 267–269.
- <sup>11</sup> «Наша ніва», 03.01.2001 г.
- <sup>12</sup> Verdery K., *What Was Socialism, and What Comes Next?* Princeton University Press, 1996. P. 85.
- <sup>13</sup> [euro.svoboda.org/programs/OTB/2001/OBT.081301.asp](http://euro.svoboda.org/programs/OTB/2001/OBT.081301.asp)
- <sup>14</sup> Laitin D. *Nationalism and Language: a Post-Soviet Perspective* // The State of the Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism (John A. Hall ed.). New York: Cambridge University Press, 1998. P. 135.
- <sup>15</sup> «Народная воля», 23.06.2001 г.
- <sup>16</sup> Aronowitz S. *On Intellectuals*. Intellectuals. Aesthetics. Politics. Academics, Bruce Robbins, ed. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990). P. 10.